

З а и р А с и м

М И Р О О Щ У Щ Е Н И Е

...Всякий раз, когда что-либо высказывал о себе, я чувствовал, что меня больше там — в недосказанности, в том, что я недоговорил, о чем промолчал, в том, что не пришло мне на ум... даже сейчас чувствую, что меня больше в моем многоточии, нежели в произнесенных словах...

1

Вход. Он же и выход. Вдруг распахивается темно-коричневая дверь, точно пальто одиноко блуждающего человека, и в дверь входит обыкновенное тело с круглой, кудрявой головой, с двумя свисающими руками (как правило, руки у человека опущены, и в этом есть своя изнанка правды — лишь изредка, крайне-крайне редко он не опускает рук!), на двух напряженных ногах. Но прежде, чем это тело оказывается внутри уютного помещения, первым заходит воздух. Воздух всегда предшествует телу и всегда следует за ним по пятам. Тут рождается ассоциация и возникает вопрос: окончательно ли мы родились, выбрались из материнской жидкости живота? Ибо, как известно, вода пребывает в трех состояниях, и воздух — одно из лиц воды. Беременное нами пространство, с одной стороны, и мы, беременные жаждой ощупывать это пространство, с другой. Так вот, заходит этот недородившийся человек и первое, что бросается в его взгляд, отпечатывается в его прокуренном годами сознании, это винтовая лестница, ведущая в густую, соблазнительную, цельную тьму. Винтовая лестница со всеми ее ступенями, окрашенная в бронзовый цвет, напоминает вырванный позвоночник. Мир — это перемолотый фейерверк руин. Здания построены на могилах. Могилы, растущие вишрь, как одноэтажное общежитие беспольх теней...

Это был сон, который приснился мне и который я надиктовывал ей. А она его записывала, когда мы сидели в кафе, и я на мгновение уснул. Прошло неисчислимое количество времени. Время вообще неисчислимо. Столько мыслей уже пролетело сквозь меня, как стая перепуганных птиц. Если мы говорим, что прошел год, то прошел год условный, это крайне неточная единица измерения. Потому что год способен уместиться только в нашем сознании, год — это наша память о годе, нужно быть видеокамерой, чтобы точно воспроизвести хотя бы две минуты пребывания, где бы то ни было.

Я лежу на диване, вспоминая одно мгновение. Мне было лет двадцать. Тогда я еще учился в университете. Я поднимался по какой-то улице вверх, в серой сумке лежала книга, биография Германа Гессе. Это был солнечный, ясный день. Я, как всегда, находился на грани отчисления, между встречей и разлукой, между молчанием и речью. (Сейчас я понимаю, что это моя жизненная позиция, и потому она меня меньше беспокоит.) И в тот момент я так остро почувствовал, что способен произнести нечто свое. Я ощущал свой голос, мне так казалось. Так остро слышал его, хотя я толком не писал, стихи вообще не писал, прозы никакой не было (да и сейчас нет, и не знаю, будет ли вообще). Но я никогда больше не чувствовал себя настолько одаренным. И сейчас, лежа на диване, нахожу этому объяснение. То произведение, то стихотворение, которое представляется нам, никогда не сравнится с тем, чем оно оказалось на бумаге. Например, мне никогда не было так хорошо ни в одном городе, как до того, как я в него попадал. Стоит только телу переместиться в желаемое географическое положение, стоит только поэтической мысли оказаться на бумаге, как возникает вполне естественное отвращение. Как к собственным испражнениям. Когда смотрю на какое-нибудь свое стихотворение, мне кажется, что ему неуютно на бумаге. То оно кажется слишком маленьким, то слишком большим, то вовсе меня раздражает его присутствие. А белый лист прекрасен, как незнакомая девушка, смотришь в него и думаешь: столько всего можно напечатать. Но все как-то мимо.

Пасмурность, нахмуренные брови ноября. Писать — это постоянное соскальзывание с гребня волны. Я не собираюсь выдумывать каких-либо персонажей или какую-либо сюжетность. Мой сюжет прост. Он о том, как я живу и как я выживаю. Я себе говорю, главное: не перечитывать написанного, ибо в этом будет больше прав-

ды. Мы ведь не способны повлиять на день, который уже прошел. Я чувствую, как плотные спортивные носки сдавливают мои щиколотки. Я даже об этом хочу написать. Потому что сейчас мне кажется, важна мельчайшая деталь этих дней. Потому что я неизбежно тону, и мои строки — это микроволны, создаваемые тревожным размахиванием рук.

У меня нет возможности одеть свой голос в имена героев, в их встречи, в их диалоги. Из-за этого самоубийственного ритма жизни, который приходится вести, я интересуюсь только собой. Я, как человек, который впервые увидел зеркало и себя в зеркале и пристально уставился в это отражение. Мне все незнакомо и ново. Эти глаза, этот нос, этот подбородок, эта рыжеватая борода. Когда я пишу стихотворение или вообще что-либо пишу, мир ослепляющими прожекторами дыр, как солнце сквозь лупу, выжигает слова во мне.

Дождявшись, когда закончится дождь, я вышел на прогулку. Вся эта последождевая фонарная слизь бросилась мне в глаза, как северному человеку, внезапно попавшему в Африку, бросается в глаза многотысячная армия зеркал, рассыпанная на поверхности моря. Я чуть было не ослеп от такой красоты, от этого сокрушительного удара прохлады и сочности пасмурного вечера. Мир разломился, как спелое яблоко, и я, как червь, оказался в самом его сердце. Охрипшие (не знаю, почему охрипшие!) голые ветви тополей качались на ветру из стороны в сторону. Наверное, охрипшие, потому, что мне представлялся сухой скрип. Я стоял на остановке и взглядом, слухом, всеми возможными способами восприятия прилип ко всему, что меня окружало. Прилип, как прилипает улитка или слизняк к стеклу. Я чувствовал, что любое движение мира проходит сквозь меня. Это было невыносимо и прекрасно. Некуда было бежать и не могло. Мне вспоминались слова Маяковского: «Ваш сын прекрасно болен! У него пожар сердца!» Улица, покрытая оранжевыми отблесками, была похожа на язык после апельсинового леденца, по которому растекались слюни автомобилей. Раскрытое настежь окно соседнего дома махало обветренными ставнями, как крыльями. Сознание изгибалось, как йог, расширялось, надувалось, садилось на шпагат и впитывало все в себя. Порывами ветра листва сдувалась с ветвей, будто мальчик сдувал парашюты одуванчика, как ноты с нотной тетради. Это был момент, когда все замечаешь и ничего не понимаешь, а только чувствуешь. Эти огромные качели времени

раскачивались, и я уже оказывался в троллейбусе, продуваемый сквозняком, вдохновением воздуха. Слушал нарастающий и утихающий гул троллейбусного желудка. Разговоры пассажиров были подобны субтитрам в фильме. А сами люди — дополнением картины. Я не знал, куда еду. Потому что, где бы ни оказался, я слышал все то же таинственное, огненное журчание жизни. Это состояние длилось около часа. Потом тело начало уставать и все явственнее ощущать силу тяжести. Предметы уже не фиксировались и терялись из виду. Черный вращающийся стул, огромное прозрачное окно кофейни, посторонние лица, телефонный звонок. Сумбурная разбросанная болтовня, из ниоткуда исходящая и никуда не попадающая.

Спустя какое-то время я написал стихотворение и почти избавился от этих видений. Потом появилась утешительная головная боль. Физическая боль иногда действительно утешает: когда она наступит, ничего не хочется, никто не нужен. Я оставил записку в дневнике: «Такая боль в башке, что кажется, я себе этим стихом череп прострелил».

Ночь медленно сползает в завтрашний день. Я высосан собою до предела. Прощайте! До следующей строки!

2

Я хочу просто поболтать, как по телефону. Некое интервью с самим собой. Причем, что самое замечательное, вопросы будут задаваться только те, на которые я хочу ответить.

— Чем вы занимаетесь?

— Человек всю жизнь занимается одним делом. Он ищет себе занятие. На данный момент я его нашел. Я пишу.

— Вы пишете странные вещи. Это у вас происходит целенаправленно или непроизвольно?

— Я люблю сказать или что-то сделать из ряда вон выходящее. Мне кажется, такие поступки расслабляют пружину внутреннего самоконтроля. Туда надо, сюда нельзя, а ведь я не для того родился, чтобы выполнять чье-то «надо» и быть постоянно под указательным пальцем у «нельзя». Ну, кто со мной не согласится? Жить равно желать. Так? Знаете, как Фрейд говорил о сновидениях? Сон — это вместилище наших вытесненных желаний. Чему учат в школе? В школе учат в первую очередь подчиняться. И те, у кого это лучше всего по-

лучается, никогда не смогут заявить о себе вслух. Прокричать или пропеть. «Я» человека — это всегда поющее или кричащее явление, если же оно молчит, то, значит, набирается слов. Школа — это место взращивания семейства мух, среди которых прячется переодетая оса. Оса, которая когда-нибудь ужалит человечество по самую память. Сколько раз я замечал на уроках в самых дисциплинированных учениках странную тягу к внезапным резким выкрикам.

Как-то раз я гулял по городу и увидел девушку. Она сидела на скамейке остановки, поджав ноги под себя. Я купил цветы для нее. Это было лучшее ощущение из всех тех ощущений, какие я испытывал во всех случаях, когда дарил цветы кому бы то ни было. Мысль сбивается, но черт с ней, главное — голос мыслей. Всякий нормальный человек желает сойти с ума, то есть делать то, что ему хочется. Не замедлять и не ускорять темп ходьбы, когда переходишь дорогу. Пусть машина проезжает сквозь тебя. Я хочу прыгнуть с парашютом, но прыгнуть без парашюта — это самая большая моя мечта. Может, я когда-нибудь ее осуществляю? Не потому, что я устал от жизни или не вижу выхода. Выход всегда есть: жить по-животному, иметь семью, зарабатывать деньги, кушать и заниматься спортом. Это не так мало, как кажется. «Жить — самое простое дело, упало солнце и взошло». (Нет, не потому, что нет выхода. Не потому, что, отвечая на вопрос Камю, «стоит ли жизнь быть прожитой?», я сказал «нет». Нет, не поэтому. Самоубийца — это тот, кто сказал самое громкое «да», «да» своим чувствам, своему отчаянию, как раз те, кто говорят твердое, сухое «нет», еще живут и ходят среди нас.) А просто из чрезмерно сильной жажды воплощать свои желания в действительность.

«Я» — вы слышите это гулкое эхо пещеры? Этот рев вспоротого живота души. Само по себе «я» — уже заявление. Вы смотрите на пустую аллею, но, стоит только на ней появиться человеку, это уже совсем другая аллея. Там идет эта буковка «я», размахивая конечностями. Тело — это уже вызов пустоте. Если придется идти в узком коридоре, где проходит только один человек, и навстречу вам идет точно такое же тело, кто-то должен уступить. А в такой коридор мы попадаем постоянно, этот коридор — диалог. Отсюда следует, что всякие взаимоотношения между двумя лицами — это история разлуки. История того, как они ходили по узкому коридору туда-сюда, то один уступал, то другой. И потом оба развернулись и вылезли из этой канализационной трубы. Вылезли, чтобы залезть в другую.

— Что за бред вы несете?

— Именно! Несу! Несу людям в ладонях скользкий, сладкий, горячий бред. Точно Маугли из мультфильма, бегущий через джунгли. Я бегу сквозь джунгли времени и боюсь, как бы мне не расплескать этот бред на благоразумие — вот чего я боюсь больше всего: стать благоразумным. Потому что в последнее время у меня это стало хорошо получаться. Поэтому я буду писать, как пишется, жить, как чувствуется, и плевать, как плюется, и плевать я хотел на то, что мне скажет все население Земли по поводу написанного мной на каникулах. Я просто люблю бредить. Поэзия, как явление культурологическое, это и есть общечеловечески признанный бред. А люди любят читать стихи. Бред — это всего лишь прозрачное разногласие души. Нефильтрованные рассудком мысли, но это не значит, что они лишены смысла. Прекрасное бессмысленно.

Я недавно пришел к умозаключению: жизнь настолько однозначна, настолько функциональна, линейна, что у нас нет даже возможности ошибиться. Что ошибки можно обнаружить только в математике или в орфографии, то есть там, где существуют точные правила, формулы. И, как следствие — ужасающий вывод. Что бы мы ни сделали, это не может быть ошибкой, равно как и не может быть правильным. То есть наш поступок — это просто отпечаток, памятный след, который если и горит, то в умах некоторых людей. И на основе этих отпечатков, которые зачастую оказываются не совсем нашими, всегда хочется пояснить, указать на приближенность этого действия, на основе этих липких происшествий потусторонние люди произносят нам приговор. А сам ты себе всегда кажешься либо лучше, либо хуже и никогда не совпадаешь с мыслью о себе. Ты всегда как бы вырастаешь из своего поступка. Разве я действительно есть эти строки? Нет, это только мои мокрые следы, полосы, оставшиеся там, где поскользнулся человек. Это ступеньки, по которым я то поднимаюсь, то спускаюсь к самому себе.

— Хотите, чтобы я задал вам еще вопрос?

— Да, задайте. Я люблю, когда меня спрашивают. Но больше всего я люблю не отвечать на заданные вопросы. И вообще, мне надоела эта муть. Я понимаю. Все это пахнет сумасшествием. Но ведь могу я позволить себе сойти с ума хотя бы на бумаге.

3

Как тысячи раз повторялось, я сижу в стеклянной комнате кофейни, как в аквариуме. Там снаружи дождь. Во рту привкус жареного кофе. Мальчик, кружащийся на вращающемся стуле, громко смеется от удовольствия. Я радуюсь ему. Когда темно, небо начинается сразу же над головой, и ты его вынашиваешь на плечах, как тот беременный, что мне приснился. Мясные люди. Вспоротые судьбы. Легковесная мелодия: певица-женщина, песнь которой я бы назвал «Какая я красивая в разлуке с тобой». Губы, увлажненные шепотом. Стрельчатый лес столбов. Осыпавшееся дерево, как пустая вешалка, будто говорит о том, что все гости ушли. Дождь заглушает все звуки и возводит во множественную степень каждый источник света. Создается световое эхо. Зеленый свет светофора раздваивается слюной на влажном асфальте, меняется на красный, желтый. Кора дерева с влажной полосой, будто штанина описавшегося мальчика. Проститутки, как ворованное вино. Разбеги четырехколесных автомобилей, линейка красных двухглазых задниц и молчаливое царство двуногих пешеходов. Одинокие крышки плывущих зонтов, панцири. Кирпичные коробки домов. Девушка, поглощенная собственной жестикуляцией, голосом, мимикой, ребячески размахивает словами. Большая часть людей на земле проживает жизнь, любясь собственным отражением в зеркале. А может быть, все? Оставшаяся, меньшая часть, себя и это зеркало сливают воедино, в одну непереносимую смесь. Ее выразительные глаза, пойманные в темный обруч макияжа, впиваются в мое бесцельное немужское любопытство. Я ее не хочу. Я ее не вижу. Мгновение, когда меня нет. Когда я абсолютно безличен и неопознаваем, как вещь, для которой не нашлось названия. Состояние, будто нужно решить уравнение, состоящее из бесконечного числа неизвестных, нет никакой возможности для зацепки. Это все равно что задерживать дыхание. Влага блестит на дорогах, точно жир, точно масло для массажа. В окне я улавливаю бледную тень своего отражения, свои тонущие в окне глаза, острые и влажные. Долго глядя на одностороннюю улицу, думаю, что люблю односторонние улицы за то, что в них нет компромисса. В них есть какая-то обреченность. Это зрение насквозь. Это момент, когда зрение больше, чем я. Это все равно, что увидеть пересечение шара и пирамиды, то есть картинка ловится лишь на мгновение, а потом тут же теряется, и возникает сомнение, так ли оно на самом деле.

Такое мироощущение, как обнаженная рана, которая тут же покрывается защитной коркой, а если не покрывается, то раненый теряет сознание. Такое мироощущение обнажено, как зрачок — посол души, самый хрупкий и незащищенный орган тела. А для зрения все уместно. Я не знаю, где заканчивается поэзия и начинается проза, где заканчивается сегодня и начинается завтра, где прерывается медовый свет фонаря и начинается черничная тьма переулка. Потому что я затер своим «я» все границы. Я стер эти красные поля школьного листа тетрадки в клетку и уже давно пишу не то, что даже на полях (ибо полей уже никаких нет!), я пишу уже за тетрадкой, на парте, царапаю. Исписываю единственную стену своей души. Белую стену бумаги.

Стрелка часов толкает тишину в тишину, хрустит, пощелкивает, как огонь в камине, капает. Иногда я напоминаю себе того, кто засунул голову в черную дыру, чтобы описать ее. Так как там ничего не видно, я подношу свет, и, как только свет появляется, тьма, которую я хочу описать, само собой, исчезает. И пишешь уже о чем-то совершенно другом, но с привкусом тьмы — как это символично, что цвет шрифта именно черный — у нее слюнки по всем нам текут.

4

Несколько дней мне не удавалось писать. Я возвращаюсь к этим листам, как к женщине, чтобы поговорить с ней, рассказать, чем я был занят, о чем думал. Я молчал, ходил по улицам, писал стихи, целовался, решал тригонометрические уравнения, слушал родные мне голоса, проедал заработанные деньги. За это время похолодало, и пошел снег. Мраморное небо, будто разломанные песочные часы, крошилось на землю. Творчество — это автопортрет. Если после поэта остаются только его стихи и биография, то почему бы мне самому не писать биографию, параллельно с тем, что я пишу? Быть самому себе очевидцем, быть самому себе биографом. В конечном счете, любое произведение — это разговор автора с читателем. К тому же нет ничего приятнее, чем писать биографию, и скорей всего ничего правдоподобнее. Потому что ничего не приходится выдумывать. Все тут. Передо мной, вокруг меня и во мне. Но что-то мне шепчет, будто этого всего нет. Если бы мое воображение и способность улавливать мыслью предметы не функционировали бы,

существовал бы для меня мир? Я был бы как тот шизофреник, который каждый день ходит у меня под окнами, по улице Сейфуллина, с лицом, сморщенным физической болью. Это просто поэтический метод лирика. Хотя, может, мне еще захочется выпустить посторонних (не совсем посторонних!) женщин и мужчин и заговорить ими так, как мне хочется. Роман — это материализация внутреннего голоса. Женщина будет говорить, какой мужчина невозможный и непереносимый, но все равно будет любить самоотверженно и безраздельно. Потому что он — это в чем-то я, а я люблю женщину — я это не так давно осознал — за ее добровольную, саморазрушительную способность любить меня. «Она его за муки полюбила, а он ее за страданье к ним». Так я люблю улицу с односторонним движением. Самонадеянно и глупо, конечно. Но быть любимым — это всегда глупо, а ведь хочется. И если уж хочется, то пусть хочется до конца, в запой. Вижу, как Фромм, улыбаясь, смотрит на меня. Но у меня слишком крепкое тело, чтобы принимать фроммовское смирение, хотя оно мне импонирует. В более зрелом возрасте, то есть ближе к старости, возможно, я его приму. Сейчас же я вижу потрясающее равновесие между мужской полигамностью и женской потребностью сплетничать в одном решении: двум женщинам следует любить одного мужчину. Так каждая будет знать, где сейчас ее возлюбленный, во-первых, а во-вторых, они смогут свободно и легко обсуждать своего единственного мужчину. Меня спросят: а если он захочет еще одну? Ничего страшного. Значит, круг вашего женского общения только увеличится. Да здравствует гарем, как лучшее человеческое открытие, которое уже почему-то закрылось! Гарем такой выход, когда ни мужчина не страдает от нехватки новой близости, новой постельной схватки, ни женщина не страдает от чувства покинутости и ненужности. Ибо в гареме женщина настолько же не нужна, насколько и нужна. А когда ты не нужна, как все остальные, это незаметно. Как у меня разыгралось настроение воображения! И я уже чувствую, как моя игривость мне надоела, и я, как обычный муж, уставший от любовницы, возвращаюсь в свое умозрительное состояние и впитываю всем телом медленное сползание жизни с календаря.

Жить всплесками, как море! Дневной молочный свет и колючий ноябрьский воздух. Фонарь напоминает сторожа в белой шапке. Снег — это торжественность паузы. Я шел по этому мокрому снегу, и

подошвы чавкали. Когда нога опускалась, слышалось, будто человек откусывает яблоко. Вокруг была тишина, и мне так нравился звук собственных шагов, что я записал его на диктофон в мобильник, так я записываю чтение стихов. И когда прослушивал эту запись, не мог разобрать: то ли это мои шаги, то ли действительно кто-то что-то откусывает. Время откусывает меня. Выглядывая в окно, я вижу острые стрелы сосулк и вспоминаю детство. Сосулька, как длительность слезы, как шрам воды. Должно быть, все мы, когда видим снег или сосульки, вспоминаем о детстве. Я вспоминаю, как дети облизывают эти сосульки и получают невероятное удовольствие. И вдруг среди этих легких мыслей в меня врывается взрослость, культура, человеческие открытия. Вижу лицо Фрейда. Его теории, как трещина в облаке этих воспоминаний.

Абзац повисает в воздухе, как линия художника, как недосказанное слово собеседника, который вдруг, как будто вспомнив о чем-то важном и неделанном, замолкает на полуслове и смотрит перед собой. Что он видит? Он видит выразительную чуждость и агрессивность вещей. Обои — цвета сухой глины. Голос иностранца, заслоненный колонной в форме параллелепипеда. За окном медленно, как сороконожка, ползущая пробка. Въедчивый взгляд в собственное присутствие — как метод мышления. То есть, если посмотреть на любой роман как на фотографию какого-то времени, как на пылающий отпечаток эпохи, то это будет фотография с людьми, лица которых, так или иначе, наполнены чертами автора. Правда там произносится одним и тем же голосом. Представьте себе фото, в духе Магритта, стоят сотни людей, и у всех одно и то же лицо. Когда мы смотрим на любую многоликую фотографию мира, где есть мы, нас привлекает больше всего свое лицо, свое непостижимое «я». Или лица своих детей, потому что лицо ребенка — это смесь трех лиц: отца, матери и еще какого-то непостижимого лица. Третьего. Это лицо той пустоты, той тьмы, того вещества, той вероятности, откуда мы пришли. Именно в это лицо я и пытаюсь взглянуться. Пустая аллея, не тронутая ни одним силуэтом тела, говорит обо всех людях сразу, объединяет тысячи людей, которые прошли по этой аллее.

5

Я давно болен — в хорошем смысле. Мне что-то стали чертовски противны плохие смыслы. Я пришел к тому, что боль — это при-

знак жизни, атрофированная часть тела не болит. А вот радостная боль (оказывается, бывает и такая) еще лучше. Радостная боль, в сущности, есть возвышенное наслаждение жизнью. Вообще, за последнее время я стал на более яркую сторону жизни, мне так, по крайней мере, кажется. Но если даже я по-прежнему стою в теневой стороне, то стал сиять ярче, отсюда, следственно, и вокруг все кажется ярче.

Сказать какое-нибудь слово и встать на него, забраться, как на буюк. Целиком, конечно, забраться на буюк не удастся, все равно какая-то часть тела так и будет опущена в холодную, враждебную воду, но, по крайней мере, есть возможность держаться, пока хватает сил в руках. Как быть тогда, когда любая мысль причиняет острую, взрывчатую боль? Ты хочешь порвать эту связь между чувством и мыслью. Но как ее можно порвать?

Все. Я говорю здесь последнее слово. Последнее. И перехожу неизбежно в следующую главу, как после бессонной ночи переходишь в новый день. И никто тебя не спрашивал, хочешь ты того или нет.

6

Фонари, связанные проводами, как заключенные — цепями. Слышится суетливая речь китайцев. У девушки большой соблазнительный рот, настолько соблазнительный, что я отворачиваюсь. Я смотрю на угол одного дома. Я часто на него смотрю, когда оказываюсь в этой кофейне, на этом месте. Этот угол дома просто прекрасен. За ним сияет бледная синева. Дом желтый. Эти старые, аккуратно сложенные дома, построенные до моего рождения, с балконами, висящими, как животы. Такой выступающий балкон — это суррогат полета. Перед этим углом три тополя, закрученные, как канаты. Морщинистая, пористая кора. Смотрю и ловлю себя на том, что взгляд — это попытка остаться в том месте, в котором ты находишься. Так и ты уходила, а я смотрел тебе вслед, или это я уходил, а ты смотрела, или мы оба уходили, и никто никому не смотрел вслед. Уже не вспомнить.

Я думаю о тебе. Мы с тобой, как двухкомнатная квартира. У нас одна общая ванна, один общий туалет, общая кухня, но окна у нас разные. Твои окна выходят во двор, где скрипят качели, играют детишки в песочнице, делятся впечатлениями мамочки. Мои же окна выходят на проезжую улицу, где проститутки, два ряда тополей, и

эта улица течет вверх к горам. Я тебе пишу письмо — это мой способ любить. Любовь нужно кормить. Она, как птица слетает с одинокой крыши, чтобы поклевывать слова с открытой ладони. Но если ладонь пуста, как грудь наркомана, то любовь не прилетает. Не прилетает туда, где ей нечем поживиться.

Ты, как вода, я бросаю в тебя камень и смотрю, и слушаю, как ты нежно расширяешься и проглатываешь его. Я не знаю, зачем бросаю камни. Потому ли что эта мелкая рябь на твоём лице прекрасна? Потому ли что я ломаюсь на части, как зубоскалящая скала, ломаюсь, рушусь.

Дорогая, мы уже сыты по горло этой правдой жизни. Я хочу лгать, это мое последнее и единственное желание. Я знаю, ты мне в этом поможешь. Женщины более одарены этой способностью. Потому что ложь — это ласка, забота, это материнский поцелуй в лоб. Все пройдет, все, несомненно, пройдет. И проходит в тот самый момент, когда это проговаривается. Правда — это поцелуй в засос. Помнишь Достоевского «Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами». Дорогая, мы выплываем друг из друга по-собачьи.

Во мне все, безусловно, мешается. Одно входит в другое. Но так я ощущаю мир — вперемежку, поточечно (есть такое слово в математике). Я люблю, когда ничего не происходит. Или когда что-то происходит и неясно, чем оно закончится. Вы чувствуете, как я могу остановиться в любой момент, на любом слове, точно человек, идущий в пустыне. Самые счастливые моменты жизни, которые мне случалось переживать, были тогда, когда ничего не происходило. Когда я ничего и никого не ждал и когда меня никто не ждал, так, по крайней мере, мне казалось. А может, ты меня ждала? Иногда я закрываю глаза и вижу эти счастливейшие мгновения. Я стою в узком проходе плацкартного вагона, с наушниками в ушах, играет испанская гитара, открыто маленькое окошко, за которым черноокая степь, глубокая тьма. И теплый встречный ветер. Мне приятно вспоминать об этом. Слышится храп людей, чувствуется плотный запах тел. И я не знаю, куда еду... Это уже было вверху. Значит, я счастлив в те мгновения, когда не знаю, куда еду.

Это происходит где-то. На улице, в кафе или у меня в башке. Скорее всего, в кафе. Есть девушка. Есть парень. Можно написать мужчину и женщину, но почему-то ощущение, что люди стали жить

быстрее. В тридцать лет он еще парень, а она — девушка, хотя девственность потеряли лет в пятнадцать. Они переглядываются. Уточню, что этот парень не я. Я — тот, кто наблюдает за ними и думает про него, что он идиот, а она достаточно красива, чтобы привлечь внимание идиота. Я пишу две записки. Одну парню, другую девушке. Парню я пишу: «Никто ничего не потеряет, если двое пройдут мимо, не взглянув друг другу в лицо». Ей: «В действительности, мы никогда не знаем, что может выйти из разговора с человеком, с которым так и не заговорили». Отдаю каждому по бумажке и выхожу. Выхожу то ли из кафе, то ли из фантазии, копошащейся в моей башке, как мышь в мусорном ведре. Зачем я это сделал? Зачем написал им это? Чтобы дать понять, что во всех взаимоотношениях всегда есть нечто третье, постороннее и враждебное, которое подсовывает разные мысли.

Мне как-то снился сон. Я сижу за столом. Вокруг меня мои родственники: отец, мать, мои тетки, кто-то еще. По одной выходят разные девушки, наряженные как школьницы, и крутятся. Происходит невероятное действие, что-то типа кастинга невест. А я должен сидеть и выбирать себе жену. Тут прибегает собака и начинает кусать меня за ногу. Я смотрю вниз и узнаю эту собаку. Это собака Д. — девушки, с которой я встречался целых семь лет. Семь лет она ждала и надеялась, что я женюсь на ней. А может, это длилось все двадцать пять лет? Но я так и не смог жениться, как Кафка не смог жениться на Фелице. И когда ее собака кусала меня за ногу, я переживал такое пламя вины, что проснулся вспотевшим. Так мы гуляли возле ее дома в парке, с ее собакой. Сколько раз мы были счастливы втроем: я, она и ее собака! Когда она гуляла одна, а я шел к ней, то ее животное воплощение души (а ее собака была действительно животным воплощением ее души) бежало мне навстречу, узнавало меня. И мне казалось, что это ребенок нашей любви бежит мне навстречу. Сон — это длинная рука памяти, которая достанет нас даже через десятки лет.

Она спросила меня, когда мы оказались в состоянии прилипших лбов друг к другу:

- Что мы будем делать дальше?
- Будем ждать, когда придет разлука.
- И что тогда?
- Тогда и научимся снова любить.

7

Как часто мы приходим с монологом к душе? Шепчем внутрь — как бы отлив моря, уход в само себя. С утра перед работой, имея десять-двадцать минут перед выходом, высасывая горячий чай из кружки. В автобусе, зашитым между людьми, повесившись рукой на поручне, глядя в пролетающий город. Первые десять минут после любовного акта, когда сознание изрыгнулось, взорвалось, как хлопущка. Помнится, было такое растение на даче, у которого были стручки (не знаю, как их назвать), похожие на уменьшенный горох, трогаясь пальцами, и оно забавно лопается, переполненное семенами, как мужчины. Я нашептываю себе под нос, я люблю бубнить. Шепчешь, и тогда время как бы становится резиновым. Но очень тонкой резиной, которая при малейшем резком движении легко рвется. Быть тонким значит быть острым. Вот эти минуты для меня важнее всего. Легко рвущиеся. Где-то я писал:

«Одиночество раскрывает все окна нараспашку. Входи в меня, свежий воздух смерти. Закаляй мой слух перед агонией тишины. Я один на всех перекрестках. Стою под светофором и не могу шевельнуться с места, потому что душа моя бросила тяжеленный якорь на дно тела. Мимо меня проходят люди, они рассматривают меня. Они смеются надо мной. Я им мерещусь. Они проходят и говорят вслух: “Вот странный”. А я стою и смотрю на светофор. И мне слышится не светофор, а световор.

Человек вместе со своей тенью (если смотреть сверху, то это хорошо видно) образуют как бы две стрелки часов: тень — это минутная стрелка, а сам человек — часовая. Если светило окажется прямо над головой человека, то он превратится в точку. Но эти стрелки станут одной стрелкой только в одном случае — когда человек упал и лежит на земле. А когда он ляжет под землю, то стрелки исчезнут».

Это я где-то писал. Сейчас я снова в очередной комнате, что для человека то же самое, что ветка для птицы. Комната — это пустота, упакованная в стены. В эту пустоту можно внести шкаф, стол, стулья, кровать, телевизор, женщину, ребенка, домашнее животное. Но чем больше места занято в комнате, тем меньше остается возможности для чего-то другого. Свобода — это ничем не заставленная пустота. Но это не зрелая, не жизненная свобода, это свобода абсолютная, метафизическая. Я сижу в этой пустой комнате, как нарисованная точка на бумаге. Во имя чего, спрашивается, я тут нарисовался? Настолько

пустая комната, что кажется, будто я внутри книги. Я иногда долго перехожу из страницы в страницу, мучительно долго. Так бывает и с днями. Случаются дни, которые проживаешь легко и даже слишком быстро и незаметно, а случаются и такие, когда чувствуешь себя бездомной улиткой, попавшей в московское метро, где бесконечное множество ног, способных раздавить, пытающейся забраться в свой хрупкий панцирь. Дни, когда еле-еле передвигаешься из дня в день, из страницы в другую — это дни ревности. Но что или кого ты ревнуешь? Ты ревнуешь свет к темноте, осень к весне, жизнь к смерти. Твоя ревность доходит до исступления, во рту пересыхает слюна, и тебе нечем сплюнуть. Нечем смочить слово, чтобы высказать его, родить. Воды давно отошли, а ребенка нет. Это тупая бесцельная ярость, вокруг которой ты вращаешься, как стриптизерша вокруг шеста. Ты все обнажаешь себя перед миром и обнажаешь. А мы все знаем, что это за ситуация, когда один человек стоит одетый, а второй голый. Какая это власть первого над вторым. Если смотреть на комнату сверху или снизу, проецировать на плоскость, то это лист бумаги.

Дайте мне глотнуть диалога, дайте мне живые, счастливые голоса, ибо я уже задыхаюсь в этой комнате страницы.

8

— Доброе утро, дорогая. Как ты спала?

(Почему бы не начать с этого. Я так давно не начинал день с этих слов.)

Она сонно потягивается в постели и с благодарной улыбкой смотрит мне в лицо. На ней моя футболка. Это потрясающе светлое чувство, когда она в моей футболке. В этот момент мне хочется сказать, что я ее одеваю. Что без моей одежды она замерзнет. Я вкладываю в ее уста слова.

— Хорошо. Ты давно встал?

— Да. Я проснулся вечность назад. И я рад, что ты тоже проснулась. Будем вместе радоваться новому дню.

Она улыбнулась еще шире и еще приветливее. Предчувствуя мое желание ухаживать, она говорит:

— Хочу чай. С медом.

Я с радостью повозился на кухне и снова вошел в комнату. Над кружкой чая повисал танцующий туман. Я подошел к окну и рас-

крыл шторы. Яркий, фруктовый, сочный свет лег на пол. Обнялся с ковром.

— Смотри, снег идет...

— Я хочу на улицу. Я там брошу в тебя снежок, а ты сделаешь вид, что это было неожиданно. Ты же будешь делать сегодня все, что я хочу?

Сказав это, она, как маленькая девочка, надула губки. Как счастье мимолетно! Как оно эгоистично по отношению ко всему миру! И, главное, оно немногословно.

— Конечно, моя девочка.

Это была прекрасная фантазия, пережитая нами. И на этом мы не растались, а просто оказались в разных местах.

9

Это прозрачная проза, как слеза, замерзшая на холоде. Утром я был на Медео. Я не катался на коньках, а стоял на берегу этого озера жизни, где все кружились, вертелись, царапали лед. Если рассматривать мгновение как окружность, вне которой уже небытие, то я максимально отдалился от центра. То есть стал радиусом. Я — радиус жизни. Это мне понравилось. Такая мысль блеснула во мне, пока я там стоял и глубоко дышал влюбленным в меня горным воздухом. Потом я увидел, как многочисленное племя ворон облаком повисло над катком. И я знал, что в тот миг я был единственным, кто это так ясно заметил. Это было потрясающее зрелище. Мне показалось на секунду, что некоторые человеческие тела вдруг превратились в птиц и улетели. Я был так потрясен, что ждал повторения. Но его не случилось.

Затем ближе к вечеру у меня была короткая онлайн-переписка с моим другом. Он мне писал из Египта. Я ему отвечал.

«Когда ты вернешься, мы обязательно поедим на Медео. На твоей машине».

«Поедем или поедим?»

«Сначала поедем, а потом поедим. Я уже забыл все эти окончания... люблю только приставки, а на окончания не обращаю внимания... это тебе психосоматическое объяснение моих грамматических ошибок».

«Да ладно, признай, что ты просто забыл...»

«Пойми, важна не правда, а то как ее можно исказить... то, как это искажение может подействовать твоей собственной правде, которая непроговариваема... потому что в этом и есть искусство».

«Еще никогда я не слышал таких замечательных слов про... невежество».

«Я тебе об этом и говорю».

И на этом все. Каждый ушел в себя. Как те рыбы, которым приходится вынырнуть из воды, чтобы глотнуть воздуха, как киты. Начиналась очередная длинная ночь.

10

Странный вопрос, который задают по телефону: «Где ты?»

«Я, как всегда, в себе и никуда пока еще не выходил». Хожу по улицам. Размышляю над всякими вещами, которые вычитал, посмотрел или обнаружил.

Вчера я где-то записал: женщина, ищущая в мужчине отца, презирает в нем слабость; женщина же, ищущая в нем мальчика, презирает в нем силу. Поднимайся, засыпающий. Новый день ждет тебя, иди собирай урожай жизни и приближайся к бессмертию — так бы сказал, наверное, Ницше. Бессмертие — как наивно и как прекрасно звучит! Она, должно быть, тоже сейчас лежит и отгораживается словами от мира. Слова могут быть защищающей стеной между миром и человеком, а могут быть попыткой построить мост между жизнью и бессмертием. Но только попыткой. Для большинства слова — это углекислый газ, кажется, именно это мы выделяем, когда дышим. Они безрезультатно входят внутрь и безрезультатно выходят.

Городские огни под утро, с рассветом, затухают, как угли костра. Когда с утра выхожу на работу и когда возвращаюсь обратно, все время вижу людей на стадионе школы, которые ходят по кругу. Туда приходят разные люди, чтобы походить. Пожилые женщины и мужчины, матери с детьми, молодые, само собой. Неужели поблизости нет ни одного парка, ни одной аллеи, где можно было бы погулять? Это как-то забавно — видеть человека, идущего по кругу. А еще забавней смотреть на человека, шагающего или бегущего на беговой дорожке, на месте. Можно провести параллель. Бумага — та самая беговая дорожка, на которую становится пишущий, чтобы бежать или идти быстрым шагом, словно преследуя определенную цель,

или просто медленно прогуливаться. Прогулка обезвоженного сознания. Я люблю эту дорогу до работы, пятнадцать минут свободы, снег скрипит под ногами и сумка на плече тоже скрипит. Один скрип радует, другой раздражает. На пути попадаются вороны-графы и сороки-цыганки. Животные непоколебимы, как пейзаж. Животные не одиноки, потому что не способны посмотреть на себя со стороны. Животное — это абсолютно односторонний взгляд во внешность. А мы, люди, гуляем по дну неба.

Когда снег тает, разноцветные пятна бензина выступают на мокром асфальте, как плевки радуги. По ночам дворник скребет деревянной лопатой по заснеженной улице, будто желает сломать ей хребет.

Почему я так пишу? Почему не задумываюсь над композицией того, что я пишу? Наверное, потому что человеку хочется неформальной жизни, ясности в любой момент, а не ясности вообще. Украденный голос — вот какое словосочетание звучит сейчас в моих мыслях. Я презираю лишние слова. Если коснуться любви, то любовь — это диалог, в котором говорят паузы между словами, глубоководные пробелы, широколиственные разлуки. Я бы хотел, чтобы звучал только мой голос мысли, а не мысль сама по себе, потому что всякая мысль опровержима и влечет за собой свою противоположность, а голос опровергнуть нельзя. Он просто звучит, потому что живой.

Все имеет значение. Недавно вычитал из дневников Кафки: «Дупло, которое прожигает гениальная книга в нашем окружении, очень удобно для того, чтобы поместить там свою маленькую свечу».

Глаза уже слегка устали от белого света бумаги. Этот белый свет часто слепит. На пол я бросил свою серую кофту и вижу в ней серую лужу. Именно это зрение сквозь вещи мне мешает уснуть. Это зрение, когда будто через твой крохотный расширенный зрачок в тебя проникает весь мир. Это все равно, что одна женщина рождает все человечество.

11

Любовь не дозрела, если ее можно облечь в слова. Я слушаю, как фортепьянные капли разбиваются в тишине. Эти нежные и короткие звуки напоминают мне твою походку. Так ты идешь сквозь мою память. Ты переступаешь легкими шажками, как балерина, по сцене

моих мыслей. Весь свет моего сердца направлен на тебя. Это гибкое, хрупкое чувство, что сейчас наполняет меня, я прикрываю ладонями, как маленькое хрупкое пламя свечи или спички, чтобы образовавшийся в груди сквозняк его не задул. Но сквозняки не только задувают маленькие огоньки, но и разжигают их до пожара. Я не хочу устраивать пожар, в котором стгорит все, в том числе и моя тихая беспшумная радость. Чем это запахло? Что-то горит? Кажется, это горят мои руки.

Когда мы разошлись по разным комнатам и забросали коридор между ними старыми, нажитыми вещами, воспоминаниями, обидами, обвинениями так, что невозможно было уже пройти друг к другу, — что нам тогда оставалось? Единственная связь между нами была в том, что мы поочередно громко хлопали дверьми, давая знать друг другу, что ты выходишь из комнаты. Всю эту видимую баррикаду можно было разобрать, тем самым расчистив проход друг к другу, но время шло, и мы настолько привыкли к ней, что нам она казалось недвижимой и естественной, как стена. За это время у каждой комнаты — твоей и моей — отросли свои собственные двери, окна, другие комнаты и даже, может быть, другие баррикады. Иногда я поглядываю в эту сторону, в твою сторону, и замечаю маленькую щель, сквозь которую просачивается острый луч света. Я часто замечал, что эта щель чем-то закрывалась. Может, это ты подходила и пыталась услышать, чем я там занят? И ты слышала бесконечную немоту, и тебе, должно быть, казалось, что я стал немым. А мне в этот момент казалось, что это ты совсем оглохла. Ах, глухонемая разлука!

Во всяких взаимоотношениях если образовался узел непонимания, то не нужно пытаться его развязать, потому что это — вернейший способ сделать узел неразвязываемым. Нужно ничего не делать, не трогать его, он сам развяжется. Но узел, как известно, есть основание петли. Так что не суй голову. Слабая душа всегда желает приколоть булавку своей боли к другой душе.

Я часто, сидя в кафе, где мы с тобой всегда вместе ужинали, смотрю на этот стул напротив и представляю твое лицо. Это дико и странно, когда человек исчезает, а декорации остаются. В этом случае ощущение, что декорации лгут, скорее правдиво, чем ложно. Еще я представляю тебя, когда долго не могу заснуть и ворочаюсь на своем раскладном старом диване крокодилового цвета. Вспоминаю, как ты зажималась в этот угол дивана, ко мне спиной, и как я любил

обхватывать тебя сзади. И мы так лежали в позе ложки. То, что эта поза так называется, я узнал этим летом, когда еще не был с тобой знаком. Одна моя старая подруга, любовница еще со школьных лет, приезжала из Англии и сказала (само собой, после нашей близости, когда мы с ней именно так и лежали), что эта поза у них называется поза ложки. Я уверен, тебя не обидят эти подробности, потому что ты никогда не прочтешь этого, а если и прочтешь, то вряд ли поймешь, что я адресовал это именно тебе. Мало ли с кем я так лежал — с тобой или не с тобой.

Всякая женщина, как цветок — это банальное сравнение. Но, как правило, банальные вещи оказываются сильнее. Таким образом, всякая женщина требует особого ухода. Именно поэтому, дорогая, я забрал свои книги и ушел прекрасной дорогой. (Вот тебе мое понимание слова «уход».) И иду до сих пор.

12

Ночью я вздрогнул и проснулся от звука. Двое пинали бутылку на улице, а мне показалось, что это птица клюет с подоконника те кусочки печенья, которые я специально для нее оставил утром. В последнее время мне много чего кажется. И это «кажется» — единственная правда, которая у меня осталась. «Есть ли смысл жизни?» — это такой же нелепый вопрос, как и «Ты любишь меня?». Вопросы, которые задают поверхностные люди и если получают ответы, то тоже весьма поверхностные. Это пустое ребячество напоминает подростковое желание сказать что-то очень серьезное. Я на такие вопросы не отвечаю.

Все. Занавес. Не в этот раз.

Когда-нибудь я еще напишу ТО САМОЕ.

